

*Сталкер Артём
по прозвищу Тень*

Сергей Патрушев

18+

Сергей Патрушев

Сталкер Артём по прозвищу Тень

«Автор»

2026

Патрушев С.

Сталкер Артём по прозвищу Тень / С. Патрушев — «Автор»,
2026

Его зовут Артём, но имя давно стало тенью. Мир после Катаклизма не прощает ошибок. Здесь радиация разъедает плоть, мутанты охотятся в руинах, а люди порой страшнее зверей. В этом аду выживает лишь тот, кто умеет молчать. Артём - сталкер, чьё тело впитало столько смерти, что сама Пустошь признала его своим. Он ходит туда, где счётчики Гейгера захлёбываются воем, возвращается оттуда, откуда не возвращался никто. За это его боятся и называют Тенью. Но у каждого дара есть цена. С каждым шагом радиация пожирает его изнутри, оставляя на коже чёрные следы. Он инструмент, расходный материал в руках тех, кто правит остатками мира. Так было всегда. До тех пор, пока он не узнал правду. Катаклизм - не случайность. Разлом, источающий «поющую» радиацию, — творение человеческих рук. И если его не остановить, погибнет всё. Артём — единственный, кто способен войти в сердце ада и уничтожить его, но чтобы победить смерть, нужно самому стать ею.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Зона молчания	5
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Сталкер Артём по прозвищу Тень

Глава 1. Зона молчания

Дождь начался перед самым рассветом — мелкий, серый, похожий на взвесь цементной пыли, которую ветер поднимает над руинами старых заводов. Он шёл не сверху вниз, как положено нормальному дождю, а словно бы висел в воздухе, просачивался сквозь жёлтую пелену утреннего тумана, оседал на всём — на ржавых крышах, на покорёженных балках, на выжженной земле. Капли были холодными и какими-то маслянистыми, они оставляли на коже едва заметную плёнку, и те, кто постарше, говорили, что это остатки атмосферной химии, последствия тех давних взрывов, которые двадцать лет назад перекроили карту мира и саму природу вещей.

Артём лежал на продавленном матрасе, глядя в потолок, и слушал, как вода находит всё новые и новые щели в кровле. Это было похоже на тиканье — неравномерное, сбивчивое, словно сотня часов, каждые из которых показывают своё, неправильное время. Кап-кап-кап — в одном углу. Кап... кап... — в другом, с долгими паузами, от которых тишина между звуками становилась ещё более вязкой и тягучей. Он не спал уже вторые сутки — или, может быть, третьи. Время в рейдах текло иначе, сжималось и растягивалось, как резиновый жгут, и после возвращения требовалось несколько дней, чтобы внутренний хронометр снова начал отсчитывать часы и минуты, а не только «светло» и «темно», «опасно» и «можно идти».

Сон не шёл, вытесненный глухой, пульсирующей болью, которая поселилась в костях после Ядовитого леса. Она была особенной — не острой, не рвущей, а какой-то всепроникающей, словно само вещество костей изменило свою структуру, стало более хрупким и одновременно более тяжёлым. Иногда ему казалось, что он слышит, как внутри него что-то хрустит — микроскопические трещины, расходящиеся по рёбрам и позвонкам, словно лёд по весенней реке. Врач в Котловане, старый фельдшер с трясущимися руками и вечным запахом перегара, однажды сказал, что это кальций вымывается. «Радиация жрёт тебя изнутри, парень. Медленно, но верно». Он сказал это будничным тоном, каким говорят о погоде или о ценах на патроны, и Артём тогда ничего не ответил. Да и что тут скажешь?

Он сел на матрасе, спустив босые ноги на холодный бетонный пол, и несколько долгих секунд сидел неподвижно, прислушиваясь к собственному телу так, как механик слушает изношенный двигатель — пытаясь уловить посторонние шумы, перебои, признаки скорой поломки. Сердце билось ровно, размеренно, делая примерно шестьдесят ударов в минуту, — он знал это, потому что иногда, в моменты особого затишья, считал их. Но где-то глубоко, в тканях и сосудах, в лимфатических узлах и костном мозге, он чувствовал знакомое гудение. Это было не больно, но невыносимо — как зуд, до которого нельзя добраться, как звук на грани слышимости, который сводит с ума своей неопределённостью. Словно внутри поселился рой невидимых насекомых, питающихся радиацией, которую он впитал за эти четырнадцать дней в лесу.

Четырнадцать дней. Он прокрутил их в памяти, как прокручивают старую киноплёнку — отрывисто, фрагментами, без чёткой последовательности. Ядовитый лес встретил его тишиной, которая была страшнее любого звука. Деревья там мутировали, их стволы изгибались под невозможными углами, кора лопалась, обнажая flesh, пульсирующую зеленоватым светом. Листья не шелестели — они вибрировали, издавая тонкий, почти ультразвуковой писк.

Почва под ногами была мягкой, как гнилая плоть, и пахла она соответственно — сладковато, приторно, с примесью сероводорода. Он шёл через этот лес, ориентируясь по старым отметкам, оставленным на деревьях сталкерами, которые пришли сюда до него и, скорее всего, остались здесь навсегда. Он нашёл артефакт на десятый день, в сердцевине гигантского древесного ствола, который был мёртв и одновременно жив — внутри него пульсировала какая-то слизь, полупрозрачная, переливающаяся, и в самом центре этой слизи, словно желток в яйце, покоилась «Слеза». Чтобы достать её, пришлось погрузить руку в эту субстанцию по локоть, и кожа до сих пор помнила её прикосновение — холодное, обволакивающее, почти интимное. Ожог на предплечье остался именно оттуда — слизь оказалась кислотной. А трещина в ребре — от встречи с мутировавшим медведем, точнее, с тем, что когда-то было медведем, а теперь стало шестилапым кошмаром с костяными наростами на черепе и глазами, в которых не было ничего, кроме голода.

Он перетянул ребро сам, обрывком бинта, который носил в аптечке — старой, ещё довоенной, с выцветшим красным крестом. Обезболивающих не было, он их не брал принципиально, потому что боль была компасом, указывающим на серьёзность повреждения, и если заглушить её химией, можно было пропустить момент, когда тело окончательно откажет. Это была одна из его немногих личных философий — не бежать от боли, а слушать её, как слушают предупреждение. И он слушал. Слушал четырнадцать дней подряд, и теперь, вернувшись, продолжал слушать — эту затихающую, но всё ещё различимую симфонию собственного разрушения.

Барак скрипел и вздыхал, как старое, больное, но всё ещё живое животное. Артём знал его историю — когда-то, до войны, это был склад запчастей для сельхозтехники, длинное приземистое здание из гофрированного металла на бетонном фундаменте. Потом пришли взрывы, и склад опустел. Потом пришли люди, и он стал жильём. Теперь здесь обитало около двадцати человек — семьи с детьми, одинокие старики, пара таких же сталкеров, как и сам Артём. Все они жили за тонкими перегородками, сколоченными из фанеры и обломков мебели, и по ночам он слышал их — кашель, плач детей, скрип пружин, редкие, торопливые звуки близости, от которых становилось не неловко, а грустно, потому что в этом было что-то отчаянное, последнее, словно люди пытались доказать себе, что ещё живы.

Стены его угла покрывала изморозь ржавчины — причудливые узоры, в которых при желании можно было разглядеть карты несуществующих мест или лица давно умерших людей. Он иногда разглядывал их, когда не мог уснуть, и это было похоже на медитацию — бессмысленную, но успокаивающую. Пол был бетонный, с трещинами, из которых по ночам выползали мокрицы и какие-то бледные, лишённые глаз насекомые. Он не убивал их — какая разница? Они были такими же жителями этого мира, как и он сам, такими же продуктами радиации и эволюции, пошедшей не по тому пути. В углу стояло ведро для воды, накрытое куском фанеры, чтобы туда не падала ржавчина с потолка. Рядом — ящик, служивший одновременно столом и табуретом. На ящике — огарок свечи в консервной банке, коробок спичек, пустая гильза, которая выполняла роль стакана. Вот и всё. Всё его имущество, всё его место в этом мире — квадрат три на три метра с продавленным матрасом и видом на ржавую стену.

Он поднялся, стараясь не делать резких движений, чтобы не потревожить треснувшее ребро, подошёл к ведру, зачерпнул ладонью воду и плеснул в лицо. Холод обжёг кожу, прогнал остатки дрёмы. Вода была затхлой, отдавала железом и чем-то ещё — может быть, мхом, может быть, плесенью, которая наверняка цвела где-то в глубине водопроводных труб, давно пришедших в негодность. Но это не имело значения. В Котловане не привередничали. Здесь

пили то, что есть, ели то, что удалось найти или вырастить в подвальных теплицах под тусклыми фитолампами, и благодарили небеса за каждый прожитый день. Впрочем, насчёт небес — это он зря. В небеса здесь давно никто не верил. Не после того, что они обрушили на землю.

Маленькое треснувшее зеркало, приклеенное к стене куском изоленды, отразило лицо, которое он сам уже давно перестал рассматривать из праздного любопытства. Он смотрелся в него только по необходимости — проверить, нет ли кровоточащих ран, нет ли признаков лучевой болезни на коже. Зеркало показывало человека, которого он знал и не знал одновременно. Впалые щёки, обтянутые бледной, почти прозрачной кожей, под которой угадывались кости черепа — скулы, челюсть, надбровные дуги, все те анатомические детали, которые у обычных людей скрыты слоем живой плоти, а у него проступали, словно он уже начал превращаться в собственный рентгеновский снимок. Глаза, потерявшие прежний цвет — когда-то они были голубыми, он это помнил смутно, как помнят сон, — а теперь стали какими-то выцветшими, полинявшими, как старая акварель, которую слишком долго продержали на солнце. Тёмные волосы, слипшиеся от грязи и пота, свалившиеся в колтуны, которые он иногда просто вырезал ножом, потому что расчесать их было невозможно. Щетина, превратившаяся почти в бороду — рыжеватая, с проседью у висков, хотя ему было всего двадцать восемь. Двадцать восемь лет, а выглядел он на сорок — так говорили те, кто ещё решался к нему обратиться. Впрочем, таких становилось всё меньше и меньше. Люди вообще старались держаться от него подальше, и он их понимал. Он сам держался бы подальше от себя, если бы мог.

Он одевался медленно, методично, как автомат, выполняющий заложенную программу. Сначала — нижнее бельё, застиранное до дыр, но всё ещё сохранявшее остатки прочности. Потом — штаны из грубой брезентовой ткани, с наколенниками, вырезанными из старой автомобильной покрышки. Потом — рубаша, когда-то бывшая военной формой, теперь — мешковатая, выцветшая до неопределённого серо-зелёного оттенка, с заплатками на локтях и следами старой крови, которую уже не отстирать. Сверху — бронежилет, старая модель, ещё довоенная, с одной отсутствующей пластиной, которую он потерял в прошлом году во время стычки с мародёрами у Серых холмов. Без пластины левая сторона груди была уязвима, но он привык к этой асимметрии, как привыкают к отсутствию зуба или пальца, — компенсировал её тем, что всегда держался к противнику правым боком, выставляя защищённую сторону.

Ботинки — тяжёлые, армейские, на толстой подошве с металлическими вставками, которые он нашёл в развалинах военного склада два года назад. Они были велики на полразмера, и он носил две пары портянок, чтобы нога не болталась. Но зато подошва выдерживала гвозди, осколки стекла и даже кислотную слизь Ядовитого леса, разъедавшую обычную резину за несколько часов. За ботинками он ухаживал почти так же тщательно, как за оружием, — смазывал жиром, просушивал, менял стельки, вырезанные из кусков старого войлока. В пустоши обувь была важнее еды. Без еды человек может продержаться неделями. Без обуви он не пройдёт и дня.

«Глок-17» лежал на тумбочке у изголовья — единственный предмет в этом убогом жилище, к которому он прикасался с почти религиозной бережностью. Он взял его в руку и на несколько секунд замер, ощущая привычную, родную тяжесть. Семьсот граммов без патронов. С магазином — чуть больше. Идеальный баланс, выверенный австрийскими инженерами задолго до Катаклизма, в мире, где ещё существовали заводы, технологии, государства. Теперь ничего этого не было, а пистолет остался. Он пережил войны, взрывы, радиацию, смену эпох и хозяев. Артём проверил затвор — тот скользнул назад мягко, почти бесшумно, выбросил патрон из патронника, который Артём поймал на лету, как ловят муху. Привычка. Рефлекс,

взевшийся глубже, чем любое сознательное действие. Он разобрал пистолет на части — ствол, затвор, рамка, возвратная пружина — разложил их на чистой тряпке и принялся чистить. Сначала сухой ветошью, удаляя пыль и остатки смазки. Потом маслом — тонким слоем, ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше. Он знал этот механизм до последнего винтика, до последней зазубрины на шептале. Мог собрать и разобрать с закрытыми глазами, на ощупь, в полной темноте. Это было его продолжение, его второе «я», его единственный друг и собеседник в бесконечных странствиях по мёртвым землям.

Он не помнил, откуда взялся этот пистолет. Точнее, помнил урывками, как и всё, что касалось его жизни до того, как он стал Тенью. Кажется, он принадлежал человеку, которого он когда-то звал отцом. Кажется, тот человек был военным. Кажется, он погиб в первые дни Катаклизма, когда Артёму было восемь или девять, и с тех пор пистолет переходил из рук в руки, пока снова не вернулся к нему — уже взрослому, уже сталкеру, уже тому, кого называли Тенью. Образ отца почти стёрся из памяти. Он помнил только голос — низкий, спокойный, — и руки, большие, тёплые, которые держали его за плечи. И ещё — фразу, которую отец повторял часто, как мантру: «Оружие — это не сила. Это ответственность. Если взял в руки — будь готов отвечать за каждый выстрел». Артём отвечал. За каждый. Он вёл счёт, и счёт этот был неумолим.

Он собрал пистолет, вставил магазин, дослал патрон в патронник. Поставил на предохранитель. Сунул в кобуру на поясе — потёртую, кожаную, с выдавленной эмблемой, которую уже невозможно было разобрать. Всё. Теперь он был готов встретить этот день, каким бы тот ни был.

Рюкзак, с которым он вернулся из рейда, стоял в углу — тощий, почти пустой, если не считать главного груза. Всё, что он принёс, помещалось в маленьком свинцовом контейнере, перемотанном синей изоляцией в несколько слоёв. Контейнер был старый, с помятой крышкой, которую приходилось поддевать ножом, чтобы открыть. Но свинец — материал надёжный. Он экранировал излучение артефакта, не давал ему распространяться и привлекать внимание — как мутантов, так и людей с дозиметрами. Там, внутри, покоилась «Слеза». Артём не знал, почему артефакты так называли. Когда-то, ещё в начале своего пути, он спрашивал у опытных сталкеров, и те объясняли: «Потому что похоже на слезу. Стеклянную. Или на каплю ртути. И потому что плачет тот, кто её находит. Не от радости — от боли». Он тогда не понял. Теперь понимал. Каждый артефакт, который он доставал из гиблых мест, оставлял в нём частицу этой гиблости. Не физическую — ментальную, душевную, ту, что не измерить дозиметром и не вылечить антирадином.

Артефакт пульсировал собственным светом даже сейчас, сквозь свинцовые стенки — едва заметно, но если приглядеться в темноте, можно было увидеть слабое зеленоватое свечение, сочащееся из щелей. Он менял форму, словно капля ртути, — то сжимался в тугий шарик, то растекался лужицей, то вытягивался в нить, которая дрожала и вибрировала, как струна. Если долго смотреть на него, начинало казаться, что он живой. Что у него есть сознание — чужеродное, непостижимое, но сознание. Артём старался не смотреть долго. Он вообще старался не думать об артефактах больше, чем требовалось для выполнения задания. Они были грузом. Товаром. Средством обмена. Не более. Но иногда, в тишине бессонных ночей, он задавал себе вопрос, на который не было ответа: что это вообще такое? Откуда они берутся? Почему появляются именно в зонах с высоким радиационным фоном? Являются ли они порождением радиации, мутировавшей материей — или чем-то иным, пришедшим из-за грани, кото-

рую человечество переступило, само того не желая? Он не знал. И подозревал, что никто не знает, даже учёные из глухих убежищ, которые якобы изучали эту аномалию уже много лет.

«Слеза» стоила целое состояние. За неё можно было выручить столько, что хватило бы на год безбедной жизни в одном из глубоких убежищ, где ещё сохранились системы очистки воды и регенерации воздуха. Можно было купить место в бункере для себя, для женщины, если бы она у него была, для детей, если бы он мог их иметь. Можно было обменять её на лекарства — настоящие, не самодельные настойки на травах, а довоенные препараты в герметичных упаковках. Можно было приобрести оружие, снаряжение, транспорт, даже попытаться выкупить себе свободу у Крота, который держал половину сталкеров Котлована на невидимом поводке. Но Артём знал, что не получит ни того, ни другого, ни третьего. Он получит две сотни патронов. Недельный сухпай. И новый маршрут, который, скорее всего, будет ещё опаснее предыдущего. Так было всегда. Так будет и впредь. Он не жаловался — просто констатировал факт. Жаловаться было некому, да и бессмысленно. Этот мир не был устроен по законам справедливости. Он был устроен по законам силы и пользы. Кто сильнее, тот и прав. Кто полезнее, того и используют. Артём был полезен. Полезен своей проклятой особенностью, которая делала его единственным сталкером во всей округе, способным заходить в такие места, куда не сунулась бы даже хорошо оснащённая экспедиция с полным комплектом защиты.

Эта особенность проявилась не сразу. В детстве он ничем не отличался от других детей — болел, выздоравливал, получал ушибы и ссадины. Всё изменилось лет в пятнадцать, когда он впервые попал под хорошую дозу радиации в развалинах старой атомной станции. Все, кто был с ним, сгорели за неделю — классическая лучевая болезнь, тошнота, рвота, выпадение волос, отказ органов. А он выжил. Отлежался, оклемался и вышел из барака через две недели, бледный, осунувшийся, но живой. С тех пор его организм словно выработал защитный механизм — он абсорбировал радиацию, впитывал её, как губка впитывает воду, удерживал внутри, не давая ей разрушить жизненно важные системы немедленно. Но расплата всё равно приходила — медленно, исподволь, как вода точит камень. Кости становились хрупкими. Суставы ныли. Внутреннее гудение усиливалось с каждым новым рейдом, и он знал: настанет день, когда организм переполнится, как переполняется чаша, и тогда всё кончится. Быстро или медленно — он не знал. Но те, кто разбирался в таких вещах, говорили, что такие, как он, умирают по-разному. Одни — тихо, во сне, просто не просыпаясь утром. Другие — мучительно, когда внутренние органы один за другим отказывают, а кожа покрывается язвами. Третьи — быстро, в один момент, словно внутри что-то перегорает, как лампочка. Артём надеялся на третий вариант. Не из страха перед болью — он давно научился её терпеть, — а из нежелания быть обузой, умирать долго, на глазах у чужих людей, которые будут смотреть на него с жалостью и отвращением.

Он застегнул рюкзак, закинул его на левое плечо — чтобы правая рука оставалась свободной для оружия — и толкнул дверь. Она открылась с протяжным, почти человеческим стоном, словно не хотела выпускать его наружу, в этот серый, промозглый, пропитанный влагой и безысходностью мир. В лицо ударил сырой ветер, принеся с собой запахи Котлована, которые он знал до последнего оттенка: мокрая зола, машинное масло, дешёвый самогон, ржавчина, плесень, едкий дым от печей, в которых жгли всё, что могло гореть, — от древесных обломков до старых автомобильных покрышек, дающих густой чёрный дым, стелющийся по земле, словно траурный шлейф.

Котлован просыпался. Это было видно по движению на узких улочках, по голосам, доносящимся из-за фанерных стен, по запаху каши, которую варили в общем котле на центральной

площади. Поселение получило своё название не случайно — оно располагалось в гигантской воронке, оставшейся от одного из первых взрывов, того, что двадцать лет назад стёр с лица земли военную базу вместе с арсеналом и всеми, кто на ней находился. Воронка была огромной — около километра в диаметре и почти сто метров в глубину в центре, хотя центр давно уже был засыпан и застроен. На её уступах, словно ласточкины гнёзда на скалах, лепились жилища — одни были выдолблены прямо в грунте, укреплены досками и металлическими листами, другие собраны из того, что удалось найти на поверхности: обломков кирпича, кусков рифлёного железа, автомобильных остовов, даже старых вагонных секций, каким-то чудом затянутых сюда и установленных на подпорках. Улочки, виляющие между этими постройками, были кривыми, узкими, местами — просто тропинками, вытопанными в глине. В дождь они превращались в грязевые реки, и жители передвигались по деревянным мосткам, проложенным на брёвнах. Мостки скрипели, прогибались, но держали — люди чинили их постоянно, потому что без мостков Котлован просто утонул бы в грязи.

Население посёлка составляло около трёхсот человек, и это было много по меркам нынешних времён. Люди здесь были разные: фермеры, выращивающие бледные, лишённые витаминов овощи в подземных теплицах; ремесленники, чинившие оружие и снаряжение; торговцы, перепродававшие всё, что можно было перепродать; самогонщики, гнавшие мутный напиток из всего, что бродило; сталкеры, уходящие в рейды и возвращающиеся — или не возвращающиеся; и просто те, кто не нашёл себе места нигде больше, — вдовы, сироты, калеки, старики, доживающие свой век в этом забытом богом уголке мёртвого мира.

Артём шёл по центральной улице, которая вела от жилых бараков к верхнему ярусу, где располагались административные здания — дом Крота, склад, казарма его личной охраны. Улица была относительно широкой — метра три, не больше, но по местным меркам это был проспект. По обеим сторонам тянулись торговые ряды — грубо сколоченные прилавки, за которыми сидели продавцы, укутанные в лохмотья, и предлагали свой товар. Чего тут только не было: старые радиодетали, которые могли пригодиться для починки чего угодно; консервные банки с этикетками, выцветшими до неузнаваемости; самодельные ножи и топоры; сушёные травы и корни, собранные на границе пустоши; патроны — россыпью, разных калибров, некоторые — переснаряжённые по несколько раз, с тусклыми гильзами и пулями, отлитыми кустарным способом; одежда, снятая с мёртвых, — и это видно было по тёмным пятнам, которые уже не отстирать; артефакты — но мелкие, слабые, почти выдохшиеся, годные разве что для продажи наивным новичкам, которые ещё верили, что любая светящаяся штукавина может сделать их богатыми.

Люди расступались перед Артёмом, когда он проходил. Он не требовал дороги, не повышал голос, даже не смотрел на них — они сами отходили в стороны, прижимались к стенам и прилавкам, освобождая проход. Не из уважения. Не из страха — хотя страх тоже был, приглушённый, почти суеверный. Они просто не хотели стоять слишком близко. Для большинства жителей Котлована он был ходячим источником радиации, хотя любой дозиметр показал бы, что излучает он не больше, чем обычный человек, побывавший в зоне слабого заражения. Но люди не верили приборам. Они верили слухам, домыслам, своим иррациональным страхам, которые были сильнее любой логики. Им нужен был изгой — тот, на кого можно выплеснуть накопившийся ужас перед этим миром, тот, кто олицетворяет всё его уродство и безысходность. Артём стал этим изгоем много лет назад и с тех пор носил это звание с тем же молчаливым равнодушием, с каким носил свой бронежилет без одной пластины.

Шёпот за спиной сопровождал его, как эхо, как хвост кометы, сотканный из человеческих голосов.

- Смотри, Тень вернулся.
- Живой. Надо же. Который раз уже?
- С Ядовитого леса, говорят. Там же фон такой, что счётчики зашкаливают на подходе.
- Ему-то что. Он сам как ходячий реактор. Говорят, если рядом с ним постоять подольше — заболеть можно.
- Врёшь.
- А ты проверь. Вон, постой, я посмотрю.

И смех — нервный, придушенный, совсем не весёлый.

Он не оборачивался. Когда-то, в первые годы, это ранило его. Он помнил себя юношей, только что осознавшим свою особенность и ещё не привыкшим к ней, — как он пытался объяснить людям, что не опасен, что не заразен, что его организм поглощает радиацию, а не излучает её. Он помнил лица, которые не верили. Помнил женщину, отдёргившую ребёнка, когда он просто проходил мимо. Помнил торговца, который отказывался брать у него деньги из рук и требовал, чтобы он положил их на прилавок и отошёл. Помнил девушку, с которой у него что-то начиналось — робко, неуверенно, — и которая в итоге сказала: «Прости, но я не могу. Я боюсь. Я знаю, что ты хороший, но я боюсь». С тех пор он перестал пытаться. Он принял свою роль с тем же спокойствием, с каким деревья принимают зиму — не жалуясь, не сопротивляясь, просто существуя в новых условиях.

Дом Крота стоял на верхнем ярусе Котлована, на самой высокой точке, откуда открывался вид на всю воронку и окрестные пустоши. Это было двухэтажное здание, почти чудом сохранившее часть довоенной кладки — красный кирпич, местами обожжённый, местами выкрошенный, но всё ещё прочный. Крыша была перекрыта листами оцинкованного железа, которые гремели при сильном ветре, но не протекали. Окна второго этажа были почти целы — стёкла с одной трещиной, заклеенной полоской пластыря, но пропускали свет. На первом этаже окон не было вовсе — их заложили кирпичом ещё в первые годы, оставив только узкие бойницы для наблюдения и обороны. Крыльцо охраняли двое — угрюмые парни в брезентовых плащах с капюшонами, при помповых ружьях. Ружья были старые, но ухоженные, и держали их парни так, как держат люди, которые умеют стрелять и будут стрелять без предупреждения. Один из них — худой, с нервным тиком, который заставлял его постоянно щуриться, — узнал Артёма и кивнул, второй — коренастый, с бычьей шеей и татуировкой в виде змеи на предплечье — просто проводил его взглядом. Артём вошёл внутрь.

Внутри пахло едой. Этот запах ударил в нос с такой силой, что на мгновение перехватило дыхание. Пахло не концентратом из брикетов, не тушёнкой, которую можно выменять на рынке, а настоящей едой — мясом, тушёным с луком и морковью, хлебом, настоящим дрожжевым хлебом, и ещё чем-то, чему Артём не сразу нашёл название, а когда нашёл — не поверил самому себе. Это был запах кофе. Натурального, молотого кофе, который в нынешнем мире стоил дороже, чем некоторые артефакты. Крот жил на широкую ногу — не так, как жили до Катаклизма, но так, как не жил больше никто в радиусе сотен километров.

Глава Котлована сидел за массивным столом, заваленным бумагами, картами, какими-то деталями, патронами, и завтракал. Перед ним стояла тарелка с остатками омлета — настоящего, из яичного порошка, но с добавлением свежей зелени, которую выращивали в его лич-

ной теплице, — и кружка с дымящимся кофе. Крот был грузным мужчиной лет пятидесяти с небольшим, рост имел средний, но из-за широких плеч и массивной фигуры казался крупнее, чем был на самом деле. Лицо его, обрюзгшее, с тяжёлыми складками вокруг рта и набрякшими веками, выражало довольство — то особенное довольство сытого человека в мире, где большинство голодает, которое было почти неприличным. Но Крота это не смущало. Он давно перестал заботиться о приличиях. Его маленькие, удивительно живые глаза — светлые, почти бесцветные, но очень подвижные — никогда не упускали ничего из виду. Они оценивали, подсчитывали, прикидывали, и Артём знал: эти глаза видят его насквозь, знают о нём больше, чем он сам о себе.

Когда Артём вошёл, Крот поднял голову от тарелки и расплылся в улыбке. Это была особенная улыбка — широкая, белозубая (у него были хорошие зубы, вставные, керамические, выменянные у какого-то бродячего дантиста за целое состояние), но при этом совершенно лишённая тепла. Так улыбается змея, перед тем как проглотить добычу. Так улыбается ростовщик, дающий ссуду под грабительский процент. Так улыбается сама смерть, когда приходит не с косой, а с выгодным предложением.

— Артём! — воскликнул он, откладывая вилку и вытирая жирные пальцы о матерчатую салфетку. — А я уж думал, не вернёшься. Честное слово, думал. Две недели прошло, а от тебя ни слуху ни духу. Обычно ты быстрее управляешься.

В его голосе звучала фальшивая забота, как у актёра провинциального театра, играющего роль доброго дядюшки. Артём не купился на неё. Он молча снял рюкзак, расстегнул его, достал свинцовый контейнер и поставил на край стола, отодвинув стопку бумаг. Контейнер глухо стукнул по дереву. Крот проводил его взглядом, но открывать не спешил. Он знал, что Артём не обманывает — никогда, ни при каких обстоятельствах. Эта странная честность была ещё одной его особенностью, такой же непонятной для окружающих, как и способность поглощать радиацию. В мире, где все лгали, изворачивались, пытались надуть друг друга при первой возможности, Артём говорил правду — или молчал. И это пугало людей больше, чем любые аномалии.

— Опять молчишь, — Крот усмехнулся, откидываясь на спинку стула, которая жалобно скрипнула под его весом. — Ты бы хоть «здрасьте» сказал. Для приличия. Или «доброе утро». Или спросил, как у меня дела. Всё-таки я твой, так сказать, наниматель. Благодетель. Кто тебе работу даёт, кто о тебе заботится?

Артём посмотрел на него. Это был долгий, спокойный взгляд, в котором не читалось ни вызова, ни подобострастия. Вообще ничего. Так смотрят на стену. Так смотрят на пустоту. Крот выдержал этот взгляд несколько секунд, а потом отвёл глаза — не потому, что испугался, а потому, что ему стало неуютно. В этих выцветших, потерявших цвет глазах было что-то такое, от чего нормальному человеку хотелось поёжиться. Может быть — пустота. Может быть — правда. Может быть — отражение собственной гнилой души, которое Крот предпочёл бы не видеть.

— Ладно, ладно, — пробормотал он, беря в руки контейнер. — Шучу я. Можешь не отвечать. Сейчас глянем, что ты там принёс.

Он поддел крышку ножом — тем самым жестом, который Артём делал сотни раз, — и приоткрыл её. Зеленоватое свечение вырвалось наружу, осветив снизу лицо Крота, и в этом

неверном, болезненном свете оно стало почти демоническим. «Слеза» лежала на свинцовой подложке, переливаясь, меняя очертания — то капля, то шарик, то вытянутая нить. Она пульсировала в такт какому-то своему, нечеловеческому ритму, и в этом пульсе было что-то завораживающее, гипнотическое. Крот замер, глядя на артефакт, и на несколько секунд даже его циничная, всё просчитывающая физиономия приобрела выражение почти детского восторга. Почти — потому что дети не бывают такими жадными.

— Хороша, — выдохнул он наконец. — Ох, хороша. В Ядовитом лесу нашёл? Где именно? У старого завода? Или дальше, в чашобе?

Артём кивнул. Уточнять не стал, да это и не требовалось. Координаты были известны только ему — он никогда не делился маршрутами, это была его страховка. Пока он единственный знает, где искать ценные артефакты, он незаменим. А пока он незаменим, он жив.

— Отлично, отлично, — Крот закрыл контейнер с видимой неохотой, словно ему физически было больно расставаться с этим зелёным свечением. Он убрал его в ящик стола, запер на ключ, и лицо его снова приняло обычное деловое выражение. — Расчёт получишь у Михея на складе. Две сотни патронов и сухпай на неделю. Можешь идти.

Но он не встал из-за стола. И Артём не двинулся с места. Потому что оба знали: главное ещё не сказано. Две сотни патронов — это был не расчёт за «Слезу», это был аванс за новое задание, и Крот просто ждал, когда Артём это осознает. Он мог бы сказать сразу, но предпочитал тянуть — это была его игра, его способ показать, кто здесь главный. Артём знал эти правила. Он стоял и ждал.

Крот выдержал паузу ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы у нетерпеливого человека сдали нервы. Но Артём не был нетерпеливым. Он стоял, как изваяние, и в конце концов Крот сам нарушил тишину — вытащил из-под вороха бумаг карту, потрёпанную, с обгоревшими краями, исчерченную карандашными пометками, и расстелил её на столе, придав углы патронами, чтобы не сворачивалась.

— Есть новое задание, — произнёс он тоном, не предполагающим отказа. — Видишь этот сектор?

Артём склонился над картой. Она была старая, ещё довоенная — топографическая, с обозначениями высот, рек, дорог, большинство из которых уже не существовало. Поверх типографской печати шли пометки от руки: кружки, крестики, пунктирные линии, цифры. Они отмечали аномалии, мутировавшие зоны, тропы, разведанные и неразведанные. Язык этих пометок был условным, понятным только посвящённым, и Артём его понимал. Палец Крота — толстый, с обкусанным ногтем — упирался в зону, обозначенную как «Стеклянная пустыня». Вокруг неё почти не было пометок — только несколько крестиков по краям, означающих «не возвращались», и вопросительный знак в самом центре.

Артём смотрел на карту и вспоминал всё, что знал об этом месте. Стеклянная пустыня появилась около десяти лет назад, гораздо позже основного Катаклизма. Никто не знал точно, что там произошло — возможно, взрыв какого-то экспериментального оружия, возможно, цепная реакция аномалий. Результат был один: песок на огромной территории спекся в стекло. Не в тонкую корочку, как бывает после ядерного взрыва, а в толстый, многослойный пласт, который хрустел под ногами и резал подошвы, как битое бутылочное стекло. Воздух там был

горячим даже зимой — от земли шёл жар, словно глубоко внизу работала гигантская печь. Аномалии встречались на каждом шагу — гравитационные ловушки, которые могли раздавить человека в лепёшку, или, наоборот, подбросить в воздух и разорвать на части при падении; электрические разряды, бьющие без видимой причины из совершенно ясного неба; зоны искажённого времени, где секунды растягивались в часы, а часы пролетали как мгновения. И радиация. Радиация там была такой плотной, что её, казалось, можно было увидеть невооружённым глазом — лёгкое зеленоватое марево, стелющееся над стеклянной поверхностью, словно туман над рекой. Обычный человек без тяжёлой защиты мог продержаться там не больше часа. Со сверхтяжёлой защитой — может быть, сутки. Артём — дольше. Никто не знал на сколько, потому что никто не проводил таких экспериментов. Но идти туда в одиночку, без прикрытия, без гарантий возвращения — это было безумием даже по его меркам.

— Там, в центре, — продолжал Крот, водя пальцем по карте, — старая обсерватория. Военная, не гражданская. Её построили ещё до войны, в восьмидесятых, для слежения за спутниками. Говорят, под ней — бункер. Трёхуровневый, глубокого заложения. Лаборатория. Занимались чем-то секретным, связанным с излучением. Экспериментировали. И в этой лаборатории, по слухам, есть кое-что ценное. Очень ценное.

— Что именно? — спросил Артём. Его голос прозвучал глухо, хрипло, как давно не смазанная дверная петля. Он редко задавал вопросы, предпочитая получать информацию молча, но сейчас случай был особый. Если он идёт на такое задание, он имеет право знать, зачем.

Крот поднял бровь. Артём спрашивал крайне редко, и это значило, что задание его интересовало — или, как минимум, насторожило. Это было хорошо. Заинтересованный человек работает лучше, чем равнодушный.

— Документация, — сказал Крот, понизив голос, словно их могли подслушать. — Исследования. Довоенные разработки, связанные с очисткой от радиации. Понимаешь, о чём я? Не маскировка, не экранирование — а именно очистка. Удаление радиоактивных частиц из почвы, из воды, из живых тканей. Технология, которую они якобы почти довели до ума перед самым концом. Если это правда... если там действительно есть работающая технология... Это изменит всё. Всё, Артём.

Он замолчал, давая сказанному осесть. За окном, за заложенными кирпичом проёмами первого этажа, шумел дождь и ветер. Где-то вдалеке лаяла собака — или тварь, которая когда-то была собакой. В доме было тепло, почти уютно, и это тепло делало слова Крота ещё более нереальными, ещё более похожими на сказку, рассказанную у камина. Технология очистки. Спасение. Не для всех — для тех, кто сможет за неё заплатить. Крот не был альтруистом, и его мечты о всеобщем благе были бы смешны, если бы не были циничны. Если эта технология существует, он продаст её тому, кто больше заплатит, — убежищам, военным группировкам, может быть, даже тем, кто до сих пор контролирует остатки довоенной промышленности в глубоких подземных городах. И плевать он хотел на остальное человечество. Но Артёма сейчас интересовало другое. Не прибыль Крота. Не судьба мира. А то, что эта технология — если она существует — могла бы дать ему самому. Не вечную жизнь — на это он не рассчитывал. Но, может быть, несколько лишних лет. Или хотя бы облегчение этой вечной, изматывающей боли в костях, этого гула в крови, этого медленного угасания, которое он чувствовал каждой клеткой.

— Я знаю, о чём ты думаешь, — Крот подался вперёд, и его голос приобрёл вкрадчивые, почти интимные интонации, которые он использовал, когда хотел убедить собеседника в чём-то особенно важном. — Ты думаешь: «Это самоубийство». Так вот, послушай. Я не посылаю тебя на смерть. Я не идиот, чтобы терять лучшего сталкера. Я посылаю единственного человека во всём этом чёртовом мире, который может туда сходить и вернуться. Ты же сам знаешь, на что способен. Ты можешь ходить там, где любой другой сдохнет за час. Твоя... особенность. Это не проклятие, Артём. Это дар. Это твой билет в историю.

— Или в могилу, — тихо сказал Артём.

Крот рассмеялся — коротко, сухо, словно кашель.

— Все мы когда-нибудь там окажемся. Но не все умирают с пользой. Подумай. Ты приносишь мне эти документы — и я отпускаю тебя. Даю слово. Снаряжение, патроны, карты, всё, что нужно для дальней дороги. Хочешь — иди в Южные земли, там, говорят, радиации меньше. Хочешь — оставайся, но уже не как мой сталкер, а как свободный человек. Будешь жить наверху, а не в этом бараке. Заведёшь друзей. Может, даже семью. Разве ты не хочешь этого, а?

Артём молчал. Хотел ли он этого? Когда-то — да. Давно, в другой жизни, которая теперь казалась чужой, как прочитанная книга. Тогда он ещё мечтал о нормальной жизни — дом, женщина, дети, вечерние разговоры у огня. Но с годами мечты стёрлись, как стираются буквы на старых вывесках. Сейчас он не знал, хочет ли он чего-то вообще. Его желания свелись к базовым потребностям — есть, пить, спать, не умереть в ближайшие сутки. И задание Крота, при всей его безумности, давало ему хотя бы цель. Хотя бы направление. Хотя бы временный смысл существования, которого у него не было уже много лет.

— Я пойду, — сказал он.

Улыбка Крота стала шире.

— Вот и славно. Выйдешь завтра на рассвете. Снаряжение получишь у Михея по особому списку — противогаз с новыми фильтрами, дозиметр, полный комплект антирада, хотя тебе он, наверное, и не понадобится. И вот что... — Он помедлил, покрутил в пальцах пустую гильзу, которая лежала на столе, словно раздумывая, стоит ли продолжать. — Будь осторожен там. Не из-за радиации. В Стеклой пустыне, говорят, есть что-то ещё. Никто толком не знает что — те, кто уходил глубоко, не возвращались, а те, кто возвращался с окраин, несли какую-то чушь. Про звуки. Про голоса. Про тени, которые движутся сами по себе, хотя ветра нет. Может, галлюцинации от излучения. Может, и нет. Ты уж постарайся сохранить ясность рассудка. Он тебе пригодится.

Артём кивнул, развернулся и вышел, не прощаясь. Крот проводил его взглядом, и в этом взгляде было что-то, чего сам Крот, наверное, не смог бы объяснить. Смесь восхищения, зависти и суеверного ужаса перед человеком, который идёт на смерть с таким же спокойствием, с каким обычные люди идут в магазин.

Склад Михея располагался на нижнем ярусе, у самого входа в катакомбы — систему подземных ходов, которая тянулась под Котлованом на многие сотни метров. Раньше, до войны, это были коммуникационные тоннели военной базы — кабельные коллекторы, вентиляцион-

ные шахты, запасные выходы. Теперь они служили убежищем на случай атаки, складскими помещениями и, ходили слухи, тайными путями, по которым Крот переправлял свои наиболее ценные товары, не желая светить их перед жителями. Сам склад представлял собой длинный, вытянутый барак, заставленный ящиками, бочками и стеллажами, на которых громоздилось всё, что только можно представить: банки с консервами, коробки с патронами, канистры с горючим, мотки проводов, запчасти для оружия, одежда, обувь, фильтры для противогазов, батареи, аккумуляторы, свёртки с сухими пайками, какие-то приборы — то ли измерительные, то ли просто металлолом, который ждал своего часа.

Михей, старый одноглазый интендант, был одним из немногих людей в Котловане, кто общался с Артёмом почти нормально. Он потерял глаз лет пятнадцать назад, в одной из первых экспедиций в пустошь, но не озлобился, а как-то... высох. Стал тихим, философским, склонным к долгим размышлениям о судьбе человечества и природе вещей. Сейчас ему было за шестьдесят, он носил чёрную повязку на глазу и длинную седую бороду, которую заплетал в косицу, чтобы не мешалась при работе. Увидев Артёма на пороге склада, он отложил учётную книгу, в которую что-то записывал, и улыбнулся — скупой, одними уголками губ, но искренне.

— Вернулся, — констатировал он. — Ждал тебя вчера. Задержался?

Артём пожал плечами: лес, мутант, обходной маршрут. Михей кивнул, не требуя подробностей. Он знал, что от Артёма их не дождёшься, и давно с этим смирился.

— Расчёт от Крота? — спросил он, уже поворачиваясь к стеллажам.

Артём кивнул. Михей зашевелился, зашуршал ящиками, зазвенел банками. Он двигался медленно, но сноровисто — сказывались годы практики. На стол перед Артёмом легли: две сотни патронов калибра девять миллиметров, упакованные в промасленную бумагу; сухпай — шесть банок тушёнки, пачка галет, плитка концентрата, соль в тряпичном мешочке; и дополнительно — небольшой свёрток, который Михей положил отдельно.

— От меня, — пояснил он, перехватив взгляд Артёма. — Там сушёное мясо и немного табака. Вид у тебя такой, будто ты уже неделю не ел. И не надо на меня так смотреть. Я не из жалости. Просто если ты сдохнешь с голоду, кто будет таскать Кроту его побрякушки? Мне же больше работы будет.

Артём принял свёрток. Он не умел благодарить словами — это было для него так же трудно, как для других — петь или танцевать. Но он задержал взгляд на Михее чуть дольше обычного, и этого было достаточно. Старик понял. Он всегда понимал.

— Слышал, куда тебя посылают? — спросил он, понизив голос и придвинувшись ближе. Глаз его — единственный, но зоркий, — буравил Артёма, словно пытаясь прочесть на его лице то, что тот не скажет словами. — Стеклянная пустыня. Это правда?

Артём кивнул.

Михей помолчал. Потом вздохнул — тяжело, со свистом, как старый кузнечный мех.

— Дурное место, — сказал он негромко, но веско, словно ставил печать на документе. — Очень дурное. Я там был, сразу после того, как она образовалась. Тогда ещё никто не знал,

что это такое. Думали — просто ещё одна аномальная зона, каких много. Мы отрядом шли, пятнадцать человек. Хорошие ребята, опытные, не первый год в пустоши. Снаряжение — лучшее, что тогда можно было достать. Защита, оружие, приборы. И знаешь что? Вернулись трое. Я в их числе. И лучше бы мы все там остались.

Он снова замолчал, и на этот раз пауза затянулась. Михай смотрел куда-то поверх плеча Артёма, в темноту склада, и взгляд его был отсутствующим — он видел не ящики и стеллажи, а что-то другое, что-то, что случилось много лет назад и до сих пор не отпускало его по ночам.

— То, что мы там видели, — продолжил он наконец, — это не описать. И не забыть. Не радиацией единой живо то место. Там что-то ещё. Что-то... живое. Или бывшее живым. Или никогда не бывшее, но притворяющееся. Не знаю. Но каждый из нас, кто вернулся, оставил там часть себя. И не в переносном смысле, Артём. В прямом. Я вот глаз оставил. А Лёнька Седой, он у нас за старшего был, — так тот вообще рассудком тронулся. Через месяц повесился в своём бараке. Без записки, без объяснений. Просто не выдержал. Потому что то, что он видел там, оно пришло за ним сюда. Понимаешь?

Артём молчал. Он слушал. Он умел слушать — это было одно из немногих умений, которые он сохранил и даже развил. Михай оценил это.

— Ты, конечно, сам по себе, — сказал он, возвращаясь от воспоминаний к реальности и снова принимаясь за учётную книгу. — Тень. Тебя так просто не возьмёшь. Но даже для тебя это может быть чересчур. Так что вот... я тебе противогаз хороший положил. Не тот, что по списку, а получше. С новым фильтром комбинированного действия — не только от радиации, но и от химии, и от биологии. И дозиметр новый, стрелочный. Береги его. И себя побереги, если получится.

Он сунул Артёму в руки ещё один свёрток, на этот раз продолговатый и тяжёлый. Судя по весу — фляга.

— Это не вода, — пояснил Михай с кривой ухмылкой. — Спирт. Медицинский. Для дезинфекции ран. Или для храбрости. Или для того, чтобы забыться, если станет совсем неважно. В общем, сам решишь, как использовать.

Артём спрятал флягу во внутренний карман, застегнул молнию. Он посмотрел на Михея — долгим, спокойным взглядом своих выцветших глаз. Михай выдержал этот взгляд, хотя это было непросто. И в ответ — едва заметно кивнул. Этого было достаточно.

К тому времени, как Артём покинул склад и снова вышел на поверхность, день уже клонился к вечеру. Жёлтое море над Котлованом сгустилось, окрасилось в ржавые тона — солнце, невидимое за плотным слоем облаков и пыли, уходило за горизонт. Дождь прекратился, но туман стал гуще. Он поднимался от подножия воронки, медленно, неумолимо, как вода в затопляемом трюме, затягивал бараки, лестницы, переходы. Люди прятались по домам — вечер в пустоши был временем, когда на поверхность выползали твари, которые днём отсиживались в норах и развалинах. Улицы опустели. Только редкие фигуры спешили к своим жилищам, кутаясь в плащи, пряча лица от пронизывающего ветра. И среди этих фигур Артём шёл не спеша, как всегда — ровным, размеренным шагом, который не был ни быстрым, ни медленным, а точно соответствовал какому-то внутреннему ритму, известному только ему.

Он не пошёл сразу в барак. Что-то тянуло его наверх — не мысль, не осознанное желание, а скорее инстинкт, привычка, выработанная годами. Он обогнул своё жилище, миновал покосившийся забор из колючей проволоки, поднялся по шаткой металлической лестнице, которая при каждом шаге издавала такой звук, будто вот-вот рухнет. Лестница вела на смотровую площадку — остаток какой-то старой конструкции, может быть, поста противовоздушной обороны, может быть, просто наблюдательной вышки. Сейчас от неё остался только ржавый балкон, нависающий над обрывом на высоте метров двадцати. Перила давно обвалились, и стоять там нужно было осторожно — один неверный шаг, и полетишь вниз, на острые обломки, которыми было усеяно дно воронки. Но Артём не боялся высоты. Он вообще мало чего боялся — по крайней мере, из того, что можно было потрогать или увидеть.

Отсюда открывался вид на пустошь — бескрайнюю, серо-жёлтую, сливающуюся на горизонте с таким же серо-жёлтым небом. На западе, за полосой выжженной земли, чернел Ядовитый лес — отсюда он казался просто тёмным пятном, но Артём знал каждый его уголок, каждую тропу, каждую аномалию, поджидающую неосторожного путника. Он только что вернулся оттуда, и это было странное чувство: смотреть на место, которое едва не убило тебя, из безопасного далека. Странное, но знакомое. Он смотрел так уже много лет — уходил, возвращался, снова уходил. И каждый раз, глядя на пустошь с этого балкона, он думал об одном и том же: сколько ещё раз он сюда вернётся? И настанет ли день, когда он уйдёт и не оглянется?

На востоке, за холмами, покрытыми серым, как пепел, мёртвым кустарником, лежала Степанная пустыня. Даже сейчас, на закате, в тумане, он мог различить слабое свечение над горизонтом — бледно-зелёное, пульсирующее, словно биение больного сердца. Это светила радиация. Или что-то другое. Кто знает, что там, в сердце пустыни, где песок спекся в стекло, где воздух дрожит от невидимого жара, где тени живут своей собственной, непостижимой жизнью? Никто не знает. Те, кто уходил глубоко, не возвращались. Те, кто возвращался с окраин, не могли рассказать ничего внятного. Но завтра он пойдёт туда. Он, Артём по прозвищу Тень, — человек, который не говорит, а действует, человек, который носит в себе смерть, как другие носят ребёнка, человек, который давно перестал надеяться и всё ещё продолжает жить. Он пойдёт туда и, может быть, найдёт ответ. Или конец. Или и то, и другое.

Шаги за спиной он услышал не сразу — так тихо, так осторожно они приближались. Но когда услышал, реакция была мгновенной, отточенной до рефлекса: разворот на пятках, правая рука рвёт пистолет из кобуры, палец ложится на спусковой крючок, дуло смотрит туда, откуда пришёл звук. Всё это заняло долю секунды — меньше, чем нужно, чтобы произнести слово «опасность». И через эту долю секунды он увидел, что на другом конце ствола — не мутант, не мародёр, а девушка. Совсем молодая, лет шестнадцати, не больше. Она стояла на верхней ступеньке лестницы и смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Одна рука её была замотана грязным бинтом, другая вцепилась в перила лестницы так, что побелели костяшки.

— Извините, — проговорила она, и голос её дрожал, срывался, как у человека, который изо всех сил пытается не заплакать. — Извините, пожалуйста. Я не хотела вас напугать. Я просто... я...

Она запнулась, не в силах подобрать слова. Артём опустил пистолет, медленно, осторожно, как опускают руку, которую держали над огнём. Он убрал его в кобуру и замер — не двигаясь, не говоря ни слова, просто глядя на неё. Девушка перевела дух — прерывисто, судорожно — и продолжила, уже немного смелее:

— Меня Лина зовут. Вы Тень, да? Тот самый? Мне сказали, вы живёте здесь. Я вас искала.

Артём молчал. Он не спрашивал, зачем она его искала — он ждал, когда она скажет сама. И она сказала, справившись с дрожью в голосе:

— Мой брат туда ушёл. В Стеклянную пустыню. Два месяца назад. Он тоже был сталкером, как и вы. И не вернулся. Ни слуху, ни весточки, вообще ничего. Может быть... если вы его встретите... или узнаете что-то... — Она дотронулась до своей щеки, проведя пальцем от виска к уголку рта. — У него шрам. Вот здесь. Старый, ещё детский, мы с ним в детстве подрались, я его камнем... Он говорил, что это его счастливый шрам. Может, он ещё жив. Может, вы его найдёте.

Она полезла в карман своей залатанной куртки и вытащила что-то, завернутое в грязную тряпицу. Протянула Артёму — рука дрожала, но взгляд был решительным, почти отчаянным, как у человека, который ставит всё на последнюю карту.

— Вот. Это амулет. Он говорил, что он приносит удачу. Я знаю, вы, наверное, не верите в такое. Но я верю. И он верил. Возьмите его. Может, он вам поможет. Может, он приведёт вас к Илье.

Артём медлил. Он стоял и смотрел на этот свёрток в протянутой руке, и внутри него что-то шевелилось — не мысли, не чувства, а скорее тени тех и других. Он не верил в амулеты. Не верил в удачу. Не верил в судьбу и высшие силы. Но в глазах этой девочки было что-то такое, что напоминало ему о давно забытом. О том, как он сам когда-то верил. В отца, который обещал вернуться и не вернулся. В мать, которая улыбалась и говорила, что всё будет хорошо, хотя вокруг рушился мир. В людей, которые казались добрыми, пока не показывали свою истинную сущность. Эта девочка верила, что её брат жив. И эта вера была такой хрупкой и такой сильной одновременно, что он не мог её разрушить. Не мог просто развернуться и уйти.

Он протянул руку и взял свёрток. Развернул тряпицу — внутри оказалась маленькая фигурка, вырезанная из кости: птица с расправленными крыльями. Грубая работа — видно, что резали обычным ножом, без специальных инструментов, — но в ней чувствовалась какая-то энергия, какая-то забота, вложенная в каждый срез. Птица рвалась в небо, которого никогда не видела. Птица, рождённая в грязи и темноте, мечтала о полёте.

— Спасибо, — прошептала Лина. И прежде чем Артём успел что-либо сделать — кивнуть, моргнуть, подать хоть какой-то знак, — она развернулась и быстро, почти бегом, спустилась по лестнице и растворилась в тумане. Только стук шагов по металлическим ступеням ещё несколько секунд эхом разносился по пустым улицам.

Артём остался один. Он повертел фигурку в пальцах — она была тёплой, словно хранила тепло рук, которые её держали. Птица смотрела на него пустыми глазницами, и в её молчании было что-то такое же непостижимое, как и в его собственном. Он спрятал фигурку в нагрудный карман, рядом с сердцем. Легла она удобно, словно всегда там и была.

Ночь опустилась на Котлован быстро — здесь, в низине, окружённой холмами, темнело раньше, чем на равнине. Артём вернулся в свой барак, зажёл огарок свечи, поставил его в консервную банку. Колеблющийся огонёк осветил убогую обстановку, отбросил причудливые тени

на ржавые стены. Он сел на матрас и принялся перебирать снаряжение — методично, тщательно, как всегда. Разложил патроны по подсумкам. Проверил «Глок» — ещё раз, хотя знал, что он в идеальном состоянии. Осмотрел противогаз, данный Михеем, — понюхал резину, проверил клапаны, протёр стёкла. Уложил в рюкзак сухпай, флягу со спиртом, бинты, аптечку, дозиметр. Сверху положил запасную одежду — тонкую, но тёплую куртку из верблюжьей шерсти, добытую когда-то давно у мёртвого караванщика. Карту, которую дал Крот, он изучил ещё раз, запомнил маршрут, прикинул время. Идти предстояло дня три-четыре, если без задержек. Но в Стеклойной пустыне задержки были неизбежны.

Потом, когда все дела были переделаны, он достал из-под подушки книгу. Это был старый, потрёпанный томик в твёрдой обложке, с выцветшим золотым тиснением: «Атлас звёздного неба». Он нашёл её много лет назад, в развалинах публичной библиотеки, в мёртвом городе, названия которого он уже не помнил. Книга лежала под обломками стеллажа, чудом уцелевшая, лишь немного подпалённая по краям. Он взял её тогда просто так, без всякой цели, — может быть, потому что картинки были красивые. А потом, читая её при свете костра, в долгих одиночных рейдах, он открыл для себя целый мир. Оказывается, там, за жёлто-серым пологом облаков, существовали звёзды. Тысячи звёзд, миллиарды, рассыпанные по чёрному бархату космоса. Галактики, туманности, планеты. Бесконечность, в которой Земля была лишь пылинкой. Это потрясло его тогда — не масштабом, не величиим, а тем, что где-то там, возможно, есть миры, где нет радиации. Где нет мутантов. Где нет людей вроде Крота и изгоев вроде него самого. И эта мысль стала для него своеобразным якорем — когда становилось совсем невыносимо, он вспоминал о звёздах. О том, что даже если эта планета умерла, вселенная продолжает жить.

Сейчас он не читал книгу. Он просто держал её в руках, ощущая шероховатость обложки, вдыхая запах старой бумаги и плесени. Она была его талисманом, его настоящим амулетом — в отличие от костяной птицы, которую дала Лина. Книга не обещала удачи. Она просто напоминала о том, что есть вещи больше, сильнее, вечнее, чем этот мир. И это помогало.

Свеча догорела и погасла, утонув в лужице расплавленного воска. Темнота стала полной, абсолютной — такой бывает только в бараках Котлована по ночам, когда не светит луна и не горят фонари. Артём лёг на матрас, закрыл глаза, но спать не торопился. Он слушал. Ветер завывал в щелях, стучал оторванным листом железа где-то на крыше, приносил далёкие звуки — лай мутировавших собак, скрип деревьев, чей-то плач или смех. Звуки в Котловане были обманчивы — никогда нельзя было сказать наверняка, плачет ли ребёнок в соседнем бараке или это кричит ночная тварь, подкрадываясь к границе посёлка. Но Артём привык. Он различал эти звуки, как музыкант различает ноты. Это была симфония мира, в котором он жил, — траурная, минорная, но единственная доступная.

Завтра на рассвете он уйдёт. Снова наденет противогаз, забросит за плечо рюкзак, поправит кобуру. Пройдёт по спящим улицам, никем не замеченный, как и положено тени. От него не будут ждать прощальных слов — потому что он никогда их не говорил. От него не будут ждать возвращения — потому что никто, кроме Михея, не верил, что он возвращается. Он просто исчезнет, растворится в жёлтом тумане, и жители Котлована, проснувшись, увидят лишь пустой барак и подумают: «Тень ушёл. Может, навсегда. Может, и хорошо».

Он усмехнулся в темноте — беззвучно, одними губами. Усмехнулся своей судьбе, своей роли живого инструмента, своему одиночеству. А потом закрыл глаза и всё-таки провалился

в сон — глубокий, тяжёлый, без сновидений. Последняя ночь перед дорогой. Последняя ночь в Котловане — возможно, последняя вообще.

И где-то на грани сна и яви, перед тем как окончательно отключиться, он подумал о птице в нагрудном кармане, об её костяных крыльях, расправленных для полёта, который никогда не состоится, о девушке по имени Лина, которая верила, что её брат жив, о звёздах, которых он никогда не увидит. И о том, что, возможно, завтра, в Стекло́нной пустыне, его ждёт не только смерть, но и ответ. Или хотя бы покой. Этого было достаточно, чтобы заснуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.